

Я вернусь туда еще не раз.
Когда же ты, душа, от горя содрогаясь
И пережив девятый жизни вал,
К иконе чудной, обессилев, припадаешь?
День беспощадный снова ведь настал.

От зависти, корысти и обмана,
От лицемерья, беспросветной лжи
Спешу я к окнам в утреннем тумане
И к василькам в уже попевшей ржи.

Не раз я буду возвращаться
К дорогам тем, где мы с тобою шли.
Ты утешенье, свет любви и счастья,
Не страшен гром с небес, и тучи, и дожди.

Спешу к тебе, паря над облаками.
Ты обними меня, развей мою тоску.
Я крылья не сложу, хотя они изранены,
От глаз твоих я взор не отвожу.

Гори, свеча, меня обогревая,
Зажги надежду в раненой груди.
Ты мне поверь, я часто улетаю,
Не заметет пурга знакомого пути.

10/IX— 2014

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

**Почему мною написаны два варианта
«Воспоминаний о Ясной Поляне»
в разные годы**

Первый вариант — это 1993 год. Я написала его за одно утро. Это было счастье. Еще спали мои дочери. Безмятежность, покой, радость творчества. Писала я и раньше, но многое уже потеряно. Благословила меня на творчество чудный человек, прекрасный филолог Галина Николаевна Пирогова — учитель яснополянской школы, почти 20 лет назад.

В наш дом пришло горе. Не стало моей младшей дочери.

Я хотела умереть. Описать эту боль невозможно.

Заболела и старшая. Я не спала, не ела, день и ночь скитаясь по улицам.

Представился случай отправить через Японию письмо мужу. Выяснилось, что он искал меня, а я его, тридцать лет. Его письма лежали на почте пачками.

Ночью раздался звонок. Я вскочила, зная, что это он.

Он плакал. В начале марта должен был приехать, но 4 февраля умер на дороге в Джакарте.

Этот удар окончательно сломил меня. Зная, что самоубийство — грех, я искала, за что уцепиться, чтобы жить.

О людях говорить не хочу.

И вот однажды ночью я снова взяла тетрадь. Я вспомнила окна в доме Волконского, за которыми я появилась на свет, дорогие образы, дорогие могилы, любимые дороги и тропинки. Я ничего не забыла.

Я нашла способ выжить.

I

Ноябрь 1993 г.
г. Москва

*Господи, окропи в сердце моем
росу благодати Твоея.*

*Господи, даждь ми терпение,
великодушие и кротость.*

Время за полночь. Я открываю глаза. Спадает с неба призрачная пелена, приоткрыв окно в незримое, но чувственно-ощутимое, и под звуки таинственной музыки снова слышу я призывный шепот музыки.

Легким движением тонких пальцев коснется она самых трепетных струн моей души, наполнив ее звуками, образами и запахами и, разбуженная и растревоженная, в восторге, щемящем и сладостном упоении забьется она, вырываясь из клетки и устремляясь туда, где нет границ во времени и пространстве и нет земных забот, и лишь прекрасная тайна жизни и смерти, любовь и память покоятся в колыбели вечности под музыку синих звезд, среди которых отыщу я свою тропу к драгоценным истокам моего бытия, как к роднику в пустыне, из которого никогда не напиться.

Как упоительно мятежны эти часы, когда до рассвета еще далеко, когда ничто не смутит тебя, напомнив о земном, ничто не спугнет очарования и блаженства поэтического полета души.

И только состояние предутренного парения ее в предчувствии и предвкушении молитвы несравнимо более значительно и возвышенно, хотя не всегда наша земная греховная сущность позволяет отдать справедливое и разумное предпочтение более важному, серьезному, духовному и вечному.

Темная ноябрьская ночь 1943 года распахнула передо мной врата земной жизни, за что я благодарю Господа. Я благодарю Его за годы тяжелых испытаний, лишений и утрат, за годы страданий и те мгновения, ради которых стоило родиться.

Выйдя из чрева матери моей, я окунулась в лебяжий пух нежности моей бабушки. Просыпаясь, я утопала в небесной синеве ее больших глаз, из которых струились потоки света, любви и умиления.

Дом Волконского в Ясной Поляне, в котором я появилась на свет с помощью акушерки яснополянской больницы Софьи Ипполитовны, стал моей колыбелью, над которой шумели березы и пели соловьи, и сквозь белое кружево душистой черемухи я однажды познала небо, небо моей России.

Я узнала, как пахнет земля, ставшая моей кровью, вошедшая в сердце мелодией вечности, вдохнувшая в меня аромат цветущих лугов, который я унесу с собой, умирая. Я рано начала помнить себя. Как сейчас вижу дорожку к бытовому музею. Здесь, на террасе с вырезанными петушками, лошадками и человечками, был впервые запечатлен на фото мой младенческий образ. Мне был 1 год 8 месяцев.

Я помню боль от впивающихся в мои босые ноги мелких камешков, но я не плачу — мне хорошо. День жаркий, солнечный, все зелено вокруг, все радуется жизни. Мать ведет меня за руку. Она молода и красива.

Здесь, у музея, ранней весной, едва покажется яркая молодая травка, вся лужайка зацветает голубыми под-

снежниками, которые и по сей день волнуют меня какой-то неразгаданной, нежной, таинственной прелестью.

Мои первые шаги. Как тяжело идти в валенках и пальто. Бабушка ведет меня за руку. На совсем еще зеленую траву выпал пушистый белый снег. На моем синем пальтишке красивые белые звездочки. Я разглядываю их, но они исчезают, а с неба падают новые и новые, медленно и плавно опускаясь на землю. Я наступаю на тонкое прозрачное стеклышко льда, сквозь которое проглядывает зеленая травка, и оно с хрустом раскалывается.

Но вот мой взгляд останавливается на еще не снятых больших кочанах капусты. Как хороша их голубоватосизая зелень, припорошенная снегом! Как красиво кругом, как я счастлива, как хорошо и спокойно на душе рядом с бабушкой! Зимние звездные вечера, бескрайние заснеженные поля, завывающий ветер, трескучие морозы, лунный свет и далекий лай собак в деревнях, где гаснут желтые огоньки крестьянских изб — это колыбельная, которую впервые осознанно и навсегда принимает в себя восторженное и чистое детское сердце.

На столе горит лампа. Я всматриваюсь в профиль бабушки, склонившейся над шитьем. Страшная мысль потерять ее омрачает мое детство. Мои детские сны тревожны. Просыпаясь, я содрогаюсь в рыданиях, радуясь тому, что это только сон, но продолжая страдать за ту бабушку, которая во сне все-таки умерла. Если бы мама могла быть такой, как бабушка!

6 апреля 1945 года у меня появилась сестренка. Ее большие карие глаза с длинными пушистыми ресницами плохо видели, тонкие, мягкие, рыжеватозолотистые волосы завивались колечками. Я ее нежно любила, но обижала, вовлекая в свои азартные разбойничьи игры. Когда она плакала, на ее шейке голубым шариком надувалась вена. Ее кожа была нежной, белой и тонкой, и ее

обветренные ручки вызывали у меня жалость и нежность. Она всегда просила есть.

Зимними темными вечерами по скрипучему искрящемуся снегу неслись наши сани в сказочный мир таинственных теней, мерцающих звезд и лунного света. Старые ели осыпали нас снегом, а мама бежала, и ее длинные стройные ноги мелькали у нас перед глазами. Вот мы въезжаем на аллею, ведущую к дому-музею, кружимся вокруг клумбы и останавливаемся. Мама переводит дыхание. Ее темные глаза блестят, из-под белого пушистого платка выбились каштановые локоны, от быстрого бега, мороза и ветра разругались щеки. Как она красива! Здесь мы встречаем Анну Ильиничну с большим черным пуделем, из шерсти которого она много вязала. Она снимает с себя черно-бурую лису с мордочкой и лапками и бросает на клумбу в рыхлый пушистый снег, затем поднимает ее, показывая нам отпечатавшийся на снегу лисий силуэт. Они о чем-то говорят, в тусклом свете фонарей кружатся снежинки, резвится собака, а дома нас ждет бабушка, и, наверное, она испекла лепешек. «О! Как безмятежен мир, как прекрасна жизнь», — думаю я.

Мы возвращаемся с прогулки, гремят с мороза валенки, мы раздеваемся и укладываемся спать. А бабушка долго еще не ляжет — у нее всегда много работы, и я смогу, засыпая, смотреть на нее. Я думаю о звездах, о том, что там, за ними, и есть ли где-то конец. Бабушка говорит, что Вселенная бесконечна. Я мучаю ее вопросами, спорю, не соглашаюсь, пытаюсь это понять. Затаившись и едва дыша, я думаю о смерти.

И снится мне сон, будто я уже умерла и мне очень больно и обидно оттого, что мама и бабушка чем-то заняты в кухне за столом и не знают, что я над ними, здесь же, где и они. Я страдаю, хочу, чтобы они увидели меня и узнали, что я есть, хотя сознаю, что я невидима, бесте-

лесна и беспомощна. Точно такой же сон снился в детстве и моей старшей дочери, о чем она рассказала мне, уже будучи взрослой. Перед сном мама и бабушка читали нам книжки в ветхих обложках, прекрасные, полные поэзии жизни, глубины человеческих чувств и переживаний. Я часто плакала, страдая за Аленушку, за девочку со спичками, жалея погибших в суровую зиму куропаток, испытывая боль за обездоленных, голодающих сирот.

Любимым моим рассказом был рассказ датского писателя Уйды «Нелло и Патраш». Я безудержно рыдала, мысленно спасая талантливого осиротевшего ребенка и его прекрасного огромного пушистого друга. Ранним зимним утром к воротам церкви подошел мальчик. Он был голоден и дрожал от холода. С ним была его собака Патраш. Нелло пришел узнать имя победителя состоявшейся несколько дней назад выставки местных художников. За лучшую работу было обещано вознаграждение. В предзакатном сумраке под сводами церковных стен искал он свое имя. Но его имени там не было. Пришедшие утром люди известили всех о произошедшей ошибке, и победителем был признан мальчик по имени Нелло, а портрет старика, написанный им углем, потряс зрителей своей психологической глубиной. Мальчика стали искать, но не нашли. Церковный сторож, придя на работу, увидел лежащего у порога церкви ребенка. Рядом с ним лежала огромная собака. Они были мертвы. Наступившая весна приносит с собой новое ощущение радости жизни: сердце замирает от восторга и счастья, когда апрельский ветерок, окатив теплой упругой волной обнаженные руки, уже трепещет на разгоряченных щеках, едва касаясь их, напоенный запахом влажной земли, терпкой горечью прошлогодней листвы и медовым ароматом цветущей ивы, над которой жужжат неумолимые пчелы.

Яркое синее небо слепит полуденным солнцем, лежат еще где-то шапки нерастаявшего снега, а загадочные сине-розовые медуницы уже пробили бурую прошлогоднюю траву на проталинах в Чепыже. На пригорках зацветают кудрявые лиловые хохлатки и гусиный лук, а дальше, вдоль дороги к реке Воронке, уже зажелтели кувшинки, лютики и купальницы, тонкий мандариновый аромат которых уносит меня в мир волшебных грез и самых радужных представлений о мире. Мы идем в поле, где еще в сырой, но уже оттаявшей земле можно отыскать прошлогоднюю картошку, и радуемся, когда, приподняв небольшой ее слой, обнаруживаем белое клейкое месиво, из которого мама приготовит блины. Здесь такое блюдо называли кавардашками.

Сестренке моей только год, и идти ей очень трудно. На ней белые шерстяные чулки, которые связала и прислала из Латвии баба Лиза, и маленькие калоши. Скоро зацветут сирень и черемуха, а позднее у самого нашего дома распустятся маленькие белые розочки. Разогретые полуденным солнцем, они источают теплый, слегка горьковатый аромат, который также войдет в мою память и сознание ощущением Родины.

Ранним утром я выходила на крыльцо. Это время для меня всегда праздник, и все, что встречает мой взор, прекрасно. Я с благодарностью принимаю щедрые дары природы и дар жизни. В нежных белых лепестках роз дрожат от моего трепетного прикосновения сверкающие росинки и, подобно маленьким хрустальным бусинкам, скатываются в середину цветка. Большие красивые жуки-бронзовки лениво шевелят лапками, перебирая желтые тычинки. Их зеленые крылья переливаются на солнце то красноватыми, то синими оттенками. По вечерам в овраге за Кучерской сгущается туман, и летучие мыши, как стрелы, проносятся над самой головой, пугая

стремительностью полета и непредсказуемостью его траектории. Густой аромат белых цветов табака наполняет влажный вечерний воздух, легкий ветерок приносит с собой тонкий запах скромной резеды, и опускаются на землю сумерки с их непонятной, необъяснимой грустью, печалью и тревогой. Где-то слышны голоса, и веселый детский смех еще долго будет оглашать задумчивую тишину наступающей ночи, забьются куда-то майские жуки, из конюшни послышится лошадиный храп, и воцарится на небосклоне в своей туманной золотистой короне загадочная, полная драматичной тайны луна.

Скоро наша семья пополнится еще одним ее членом — отец приведет корову. Коровушку-кормилицу, матушку, как говорится об этом милом существе в русских народных сказках. Бабушка сказала, что ее дал Микоян. Назвали ее Дочкой. Отец прошел с ней долгий путь, ночуя в поле, обогреваясь ее телом. Очень большая, уже немолодая, рыжая с белыми пятнами, она была очень умным, добрым, благородным животным. Молоко у нее было чудесным, вкусным, и давала она его до восемнадцати литров в день. У нас появились творог, сметана и масло, которое я иногда сама пробовала сбивать в маленькой ручной маслобойке под контролем матери. О! Как тянуло меня к тайне живой природы! Я заглядывала в огромные коровьи глаза цвета спелой черники и восхищалась ее жесткими, длинными иссиня-черными ресницами. Как приятно ласкать ее, прижиматься к ее большому теплему телу, вдыхать ее запах, слышать ее шумное дыхание, пахнущее парным молоком. Она понимала, что я еще слишком мала, что мне только 4 года и, боясь меня задеть, была очень осторожна в своих движениях. По вечерам я спускалась в овраг за Кучерской, где паслась Дочка, и звала ее домой. Она послушно шла, боясь задеть меня, и становилась на свое место в сарае. Продираясь сквозь заросли

лопухов, я оставляла на своем белом платье, сшитом бабушкой, репы и колючки. Мои волосы тоже были в репьях. Очарованная красотой летнего вечера, я жду, когда из-под пальцев матери вырвутся тонкие звенящие струйки молока, и, по мере того, как будет наполняться ведро, звуки эти приобретут иную тональность, утопая в воздушной белой пене.

Любовь, восторг, благодарность и нежность переполняют все мое существо. Чудесные, неповторимые картины детства! Бабушка топила молоко в печи и брала меня с собой продавать его у дома отдыха. Я была счастлива и готова была идти с ней хоть на край света. Там, где она, всегда уют, покой, тепло, любовь и свет, неиссякаемое терпение и надежность. Я хочу быть похожей на нее, но у меня ничего не получается. Я хочу быть похожей на нее и внешне, но, глядя в зеркало, не нахожу сходства, отчего очень досадно. У нее тонкие смуглые руки, черные с голубизной, мягкие волосы, большие, прекрасные, излучающие свет голубые глаза, красивый прямой нос, удивительный загар и персиковый румянец. В разрезе ее глаз было что-то восточное, и легкий наплыв над ними, а также мягкие линии в области скул создавали это сходство.

Родилась моя бабушка в Москве. Она рассказывала мне, как в ранние школьные годы ее отобрали в балет Большого театра, но родители не отдали дочь. «Какой точеный профиль», — слышала она за своей спиной, стоя у доски. Фамилия ее матери в девичестве Кудрявцева. Я часто приставала к ней, расспрашивая о фамилиях ее предков. И как хочется сейчас узнать ее родословную. Успею ли?

Дед бабушки был лесничим, и детство ее матери прошло в глухих лесах Рязанской губернии. Будучи еще маленькой девочкой и гуляя в лесу, ее бабушка нашла медвежонка и принесла его домой. Ночью пришла медведица

и с ревом стала ломать ворота. Девочка схватила медвежонка, спрятанного в сарае, и просунула его под ворота. Медведица ушла, унося своего малыша. Любовь и страсть к диким лесам передалась и мне, став моей болезнью. У бабушки моей было два брата — Леонид и Алексей. Один из них, закончив Строгановское художественное училище, еще совсем молодым умер от туберкулеза на руках матери Прасковьи Афанасьевны. Второй брат, убежденный большевик, ушел на фронт и попал в плен к полякам. В течение нескольких суток без пищи и воды, раздетые и босые, стояли пленные на острых камнях. Ноги их были в крови. В камере их было столько, что невозможно было дышать, так как их тела были сдавлены. Темной осенней ночью, в простреленной шинели, появился он на пороге дома, но, пробыв два дня, снова ушел на фронт. Известно о нем лишь одно — пропал без вести.

Играют на солнце разноцветными огоньками капли росы на листьях берез и траве. Под ногами хрустят тонкие березовые веточки. «Смотри, Танечка, ну что за прелесть», — восклицает бабушка, бережно раздвигая листья папоротника и указывая мне на соловьиное гнездышко. Сколько любви, света и умиления во всем ее образе.

«Смотри, не спугни птичку...»

Каждый раз мы приходим к этому гнездышку, любуясь подрастающими птенцами и наблюдая за их первыми неуклюжими попытками взлететь. С появлением обожаемой мною Дочки на мою бедную мать легли все хлопоты по уходу за ней. Забота о дровах и сене, уборка и ремонт сарая, дойка, огород, стирка. Полоскать белье ходили к проруби. Были еще и куры, а до появления коровы была коза, молоком которой я и вскормлена. В доме было очень холодно и сыро. По пояс в снегу приходилось матери валить, пилить и порой таскать на себе бревна, возить их на санках и колотить. Как сейчас вижу ее большие

карие глаза, горящие тревожным блеском, ее красные распухшие руки.

Приближается Новый год. Мы с бабушкой ждем маму. Уже стемнело. За окнами воет ветер, наметает сугробы пурга. Но вот распахивается дверь, и на пороге появляется мама, румяная, занесенная снегом. Ее чудесные каштановые локоны выбились из-под белого пухового платка. Она высокая, красивая, стройная, но в глазах ее всегда боль и тревога, даже тогда, когда она смеется. На плече у нее большая пушистая елка. В дом врывается морозный воздух, пахнувший хвоей и снегом. Мы долго не ложимся спать, помогая маме делать елочные украшения. Из ее распухших, в фурункулах пальцев появляются маленькие ватные куколочки, раскрашенные флажки, нарядные, разноцветные бумажные цепи. Нанизываются на новую нитку рассыпавшиеся старенькие стеклянные бусы. Я смотрю на ее руки, на распухшее от флюса лицо, и острая жалость пронзает мое сердце. Трещит мороз в трубе, завывает ветер, окна расписаны богатейшими узорами, по которым можно сложить целую сказку. Я никогда и нигде больше не видела таких морозных узоров на окнах. И снова ночь. Чарующая, загадочная, пугающая. На кухне хлопочет бабушка. Оттуда вкусно пахнет сдобным тестом. Спать совсем расхотелось, и я хочу утащить кусочек сырого теста. А завтра, наверное, будет коврижка или пирог с яблоками, а к завтраку — лепешки на сметане. Вкуснее бабушкиных коврижек, пирогов и лепешек я никогда ничего не ела. Это подтверждали все те, кому посчастливилось их отведать. Мама вырезает из теста фигурки лошадок, петушков, кукол. Мы с Лялей ложимся спать. На полу широкая лунная дорожка. На темном небе звезды, не дающие мне покоя. Я думаю о том, что со мной будет после смерти, что такое я и разве может оно, мое я, исчезнуть, а если да, то как это бу-

дет? Но должна же я где-то остаться. А вообще-то умирать совсем не хочется. Когда вырасту, у меня будет много детей. Хочу очень много детей...

Раннее утро заглянуло в окно, блуждая по потолку и стенам лиловыми тенями, пробираясь в складки одеяла, простыни и подушки. Я разглядываю их, отыскивая в их очертаниях загадочные силуэты и образы. Бабушка уже в кухне, и мне одной не согреться. Стена, к которой я неосторожно прижалась, за ночь заледенела и покрылась каплями влаги. Елка уже поставлена посреди комнаты и наряжена. Как она хороша! Чтобы не разбудить маму со спящей малышкой-сестрой, я осторожно прокрадываюсь к бабушке. Здесь, в кухне, теплее. В маленькой деревянной ручной мельнице я буду сама молоть кофе, которым бабушка слегка заправит молоко. Сахара у нас нет. В кухню пришла малышка Ляля в вязаных чулках и просит кушать. В дверь кто-то стучит, и бабушка торопит нас: «Ну, скорее, скорее, идите посмотрите, кто там пришел».

Дверь открывается, и я вижу двух маленьких медвежат, сидящих на полу. За спинами у них клетчатые мешочки с лесными орехами. Меня мучает сомнение, сами ли они стучали, но, увлеченная симпатичной, лохматой игрушкой, быстро обо всем забываю. Из нашего маленького ящичка — радио — доносятся мелодии песен, иногда мы слушаем сказки, но меня мучает непонятное мне проникновение в него крохотных человечков, которых я пытаюсь отыскать, заглядывая в маленькое отверстие на задней стенке приемника. Опера и романсы — любимые жанры бабушки и мамы. Погружаясь в музыку, они забывают о нас. Опера мне скучна, я не могу разобрать слов, и мне не терпится, когда же это кончится, но музыка начинает овладевать и мной, и слова уже не имеют существенного значения. Прекрасная музыка,

прекрасные голоса: Лемешев, Козловский, Обухова, записи Шаляпина.

Как-то ночью я проснулась от странного шума и побежала в кухню. Каково же было мое удивление, когда на полу я увидела маленького теленочка. Его ножки скользили, копытца стучали, весь лобик был во влажных завитках, он выкатывал свои печально-испуганные глаза, показывая белки, сопел, пытаясь захватить соску, которую ему так нетерпеливо, крича и раздражаясь, давала мать. В сарае было очень холодно, и даже белые куры грелись, сидя на спине у коровы. Мой восторг, прилив любви и нежности сменяются досадой и разочарованием, и я иду спать, унося в сердце боль. Скорее бы стать взрослой. Тогда у меня будут дети, коровы и непременно лошади, и я все буду делать сама. Эти полные надежд мысли утешают, и я засыпаю.

Луна скрылась за облаками, не видно и звезд. Ночь опускается на поля. Я не вижу, куда наступаю, от укусов назойливых комаров болят и чешутся ноги и руки, хочется спать. Справа поле, скрытое за кустами и деревьями, слева — березовая посадка. За полем впереди — гумно, но до него еще далеко. Мы возим сено. Мать ведет лошадь, а мы с бабушкой идем позади воза, которого уже не видно. Слышно только, как в ночной тишине поскрипывают колеса. Я вздрагиваю, понимая, что заснула на ходу, и иду дальше, проваливаясь в колею. Наши белые платья в черных комьях сырой земли. Маленькая Ляля идет молча. Ей три года. Вдруг впереди послышался какой-то шум, скрип и отчаянный крик матери. В темноте ничего не понять. Мы подходим ближе. Оказывается, перевернулся полог, и мама с бабушкой пытаются его поднять. Мы подбираем рассыпанное сено. Как мы пришли домой, не помню.

Однажды поздно вечером, когда сон уже начал смыкать наши веки, в комнату вбежала перепуганная мать.

«Капитал упал!» — кричала она. От испуга и со сна у меня сильно забило сердце, и мое воображение явило мне страшную картину.

Капитал — самый высокий и длинноногий жеребец с красивой, сильной и гибкой шеей, был горд, заносчив и непредсказуем. Когда этого красавца белой масти выводили на прогулку, он, воинственно запрокидывая голову и изгибая упругую шею, ржал, фыркал, раздувая ноздри, брыкался, высоко вскидывая назад свои длинные ноги. Он гарцевал, танцевал, рыл землю, красиво согнув переднюю ногу. Его былинная красота завораживала, его дикий, неукротимый нрав и горячий взгляд нервно косящих глаз обладал магической силой. Он не признавал власти над собой.

На рассвете, когда в тенистых уголках сада и под раскидистыми ветвями старой черемухи еще дремала утренняя прохлада, наша Дочка уходила в стадо. Я жду ее возвращения за калиткой-вертушкой у самого дома. Еще издали слышны стук копыт и мычание коров, поднимающих в воздух облака пыли. Как я все это люблю! А вот и она — моя мудрая рыжая подруга. Она осторожно берет из моих рук большой кусок черного хлеба с крупной солью. От этого же куска откусываю и я. С ней мне есть вкуснее. Я целую ее, обнимаю, висну на ее шее, вдыхая ее запах. Здесь же, рядом с калиткой, моя береза. Забравшись на самую ее верхушку, я раскачиваюсь на ветру, вглядываясь в загадочные и манящие дали. Но мое романтическое путешествие прерывается бранью и туманами — моя сестра успела наябедничать, и меня стаскивают с «палубы» моего «корабля». Но я-то знаю, что это не последнее мое странствие. Завтра бабушка возьмет меня на «Газовый», купит немного конфет, и мы, как всегда, зайдем на кладбище, где на дорогах нам могилах ее родителей цветут лиловые фиалки. Здесь же, в церкви,

меня окрестят, когда мне исполнится 12 лет, и я впервые серьезно задумаюсь о Боге, ощущая Его присутствие. Но никогда не возвысится мне до тебя, моя любимая бабушка.

Вольный ветер на русских холмах и равнинах качает березы, гуляет в шелковистых волнах ковыля, играет серебром тонких листьев плакучей ивы.

На дворе мороз. Снег мелкими искрящимися звездочками медленно кружит в воздухе и сильно скрипит под ногами. Бабушка уехала в Тулу и вернется поздно вечером. Но чаще туда и обратно она ходила пешком. Наступает вечер, и мама начинает волноваться. Сейчас мы пойдем встречать бабушку. Звездная морозная ночь. Снежинки переливаются крошечными разноцветными огоньками. Мы спускаемся по «пришпекту» и сворачиваем на дорогу. Вокруг тишина. Под темно-синим пологом, храня ночную тайну, дремлют поля. Лес утратил свои очертания, погрузившись в темную бездну небесного свода. Мы все дальше уходим от дома в неразличимую черную даль. Но вот в звенящем морозном воздухе в ответ на крики матери далеко-далеко раздается такое близкое и родное «А-у-у-у!».

Мы возвращаемся домой и укладываемся спать. И представляется мне огромная, мягкая, теплая и пушистая кровать, на которой мы все вместе летим к звездам. На нас падают снежинки, а нам тепло, уютно и радостно. Я засыпаю.

Бабушка часто ходила в Тулу. Однажды, когда она уже возвращалась домой, из канавы вылезли мужики и пошли ей навстречу. В то время на дорогах грабили. Бабушка не испугалась. В одном из них она узнала своего бывшего ученика. Он тоже узнал ее и увел своих братьев, скрывшись с ними в темноте ночи. Бабушка моя преподавала в яснополянской школе рукоделие. Она пре-

красно шила, вышивала, вязала, обладая тонким художественным вкусом и способностью увлечь своим делом. На ее уроках затихали, кропотливо работая иглой, самые озорные и непослушные ребята.

Я помню еще ее дивные вышивки крестом, гладью, рিশелье, ее мережки и многое другое, что сейчас наверняка могло бы занять достойное место на выставках самого высокого уровня. С какой легкостью ей все это удавалось, а мне на это не хватало терпения. Но, работая по ночам, чтобы выжить, она сильно подорвала свое здоровье. Кроме того, ей приходилось обшивать нас всех, и это были не только платья, кофты и юбки, но и осенние и зимние пальто. Свое мастерство она щедро передавала людям, помогая встать на ноги многодетным семьям.

Прекрасное, поистине женское народное ремесло ей удавалось благодаря тонкому художественному вкусу возвести в ранг высокого искусства. Как приятно слышать теплые благодарные слова в ее адрес от людей, которых я уже перестала узнавать. Живы ли они? «Именно она была аристократкой, с каким достоинством и мужеством она держалась, как тяжела была ее жизнь», — сказала мне в один из моих приездов в Ясную Анастасия Кузьминична Пузина. Милая моя бабушка! Как мало нам досталось от тебя и твоих родителей.

«Танечка, принимай людей такими, какие они есть», — всегда говорила она мне, вызывая этими словами еще больший протест в моей незрелой душе. Яснополянская школа, в которой преподавала бабушка и училась моя мать, жила насыщенной культурными событиями жизнью. Преподаватели ставили серьезные спектакли, в которых сами исполняли роли. На сохранившейся у меня фотографии запечатлены действующие лица спектакля «Горе от ума» Грибоедова А. С. Здесь же и моя бабушка, которая сама шила костюмы для учителей-актеров. Она

рассказывала мне о высокой оценке их театральной деятельности приезжавшими из Москвы профессиональными актерами и деятелями культуры, отмечавшими их работу почетными грамотами.

Моя мать училась музыке, французскому и немецкому языкам, была способной, но нетерпеливой и неусидчивой. Она прекрасно рисовала пейзажи карандашом, что, видимо, было унаследовано ею от брата бабушки — Сидоркова Алеши, который был художником, но рано умер. Музыкальные занятия в яснополянской школе отличались высокими требованиями к исполнению классических музыкальных произведений, огромное внимание уделялось культуре вокального исполнения. Уроки вела замечательный педагог Елизавета Васильевна Соловьева, окончившая ленинградскую консерваторию. Моя мать всю жизнь вспоминала ее и ее уроки. Елизавета Васильевна приходила к нам на чай, и я помню ее уже полной старушкой со строгим, но добрым лицом, в черных туфлях на полных ногах, черном платье с воротничком цвета чайной розы, с гребешком в высоко поднятых седых волосах.

Ее образ остался в моей памяти, овеянный романтикой родных мест, моего детства, и зародил во мне тягу к музыке и музыкальным занятиям, чему не суждено было сбыться. Высокая истинная культура, богатейшее внутреннее содержание, душевность и благородство, сила духа, умение не замечать нужды и бытовые трудности в те страшные годы репрессий, войны и голода — это качества старого учителя в высоком понимании этого слова, бесценное качество русского человека той поры.

«Старички Саввичи, старички Родионовы», — так говорила моя бабушка о людях, с которыми роднило ее благородство души.

«Давай, Соня, сходим с девочками к Саввичам».

Потом это были наши знакомые моего раннего детства и юности — дедушка и бабушка в семье Альпиных в Риге, старая латышская крестьянка Мария, Сергей Сергеевич Толстой и его жена, Вера Хрисанфовна из рода Абрикосовых, и ее родители, старички Удинцевы — родственники Мамина-Сибиряка — моего любимого писателя с детской поры по настоящий день. Всех их объединяли любовь к людям, необычайная щедрость души, благородство, чуткость, высокая человеческая культура. Это были особенные люди, которыми так богата была земля и которых можно занести только в одну книгу — книгу своего сердца.

В их окне всегда светился огонек, готовый обогреть каждого, кому становилось плохо. Как тоскует душа по дорогим воспоминаниям детства, по людям, ушедшим навсегда, без которых холодной и поблекшей стала жизнь. Я вспоминаю их руки, несущие маленький чайник, трогательно суетливые движения и участливый взгляд, готовность выслушать, понять, никогда не осуждая, помочь советом. Неторопливая, задушевная речь, глубокая искренность, большой жизненный путь, в котором отражена целая эпоха, — это то, что тянуло меня к этим старым людям, и только с ними мне всегда было интересно. Вечер, проведенный с такими людьми, зажжет в душе еще одну свечу, пламя которой будет трепетно оберегать от стихии времени до последних дней жизни. Война, в пору которой я родилась, заканчивалась, оставив в душах людей глубокие раны. Изранена была и земля — глубокие воронки от снарядов зарастали травой и цветами. Здесь на бреющем полете вели обстрел немецкие самолеты, и люди спешили укрыться в ямах для хранения картофеля с небольшим отверстием для света. Потом моей матери долго снились эти ямы, в которых вдруг обваливается земляной потолок и она остается там, погребенная

заживо. Подобные сновидения передались и мне. В детстве мне снилось, будто я лезу под кровать за игрушкой, но вылезти обратно не могу — кровать опускается все ниже и ниже, и я задыхаюсь.

Стоял ясный и теплый летний день, когда моя мать, выглянув в окно, закричала: «Мама! Немецкие танки!» До этого они сидели за столом, обедая. Я с ужасом слушала ее рассказы о том, как здесь, где я стою сейчас в своем белом платье, утопая в желтых весенних цветах, на этой земле, лежали вздутые трупы немецких солдат, залитые талой водой, и слышно было, как с бульканьем поднимаются над поверхностью воды пузырьки воздуха. В нагрудном кармане одного из них была розовая детская распахонка. Бабушка говорила мне, что немцы их не трогали, вели себя довольно корректно, хотя случаи вандализма наблюдались.

Однажды немецкий солдат вытащил из этажерки ножку с резьбой ручной работы и стал мешать ею белье. В доме-музее возник пожар, который был потушен, и в тушении его моя мать принимала самое горячее участие со свойственной ей энергией и незаурядной смелостью. Но именно ее роль в этом событии замалчивается, о чем она наивно сокрушалась многие годы. Она очень гордилась тем, что была на трудовом фронте и тяжелым ломом колола на дорогах лед. В это же время она работала санитаркой в яснополянской больнице, помогая раненым. Она много рассказывала мне, не очень заботясь о моей детской психике, о страшных картинах человеческих страданий. Долго не могла забыть моя мать одного молодого «солдатика», так она называла его. Снарядом были оторваны у него обе ноги. Стоя в операционной и держа таз, в который стекал гной из его ран, она боролась с обмороком, и, когда таз был уже полон, она чуть было не уронила его. Помню я свою мать как очень бесстрашного,

энергичного, трудолюбивого, но очень вспыльчивого, ранимого и незащищенного человека, сильно страдающего от человеческого зла и несправедливости, чего на долю ее и ее матери выпало немало.

Одни только козни Чеботаревской и «тетки» (Толстой-Есениной С.) могли свести в могилу и мою бабушку, и мать, хотя вспышки любви в непредсказуемой натуре Толстой-Есениной по отношению к своей племяннице — моей матери наряду с критикой своего характера периодически проявлялись. Среди немцев был в Ясной австрийский офицер. Помню только, что звали его Франц, и был он сильно влюблен в мою девятнадцатилетнюю мать. Он мечтал об окончании войны, о том, как увезет ее в Австрию, где сможет жениться на ней. Он очень бережно относился к ней, проявляя истинно рыцарские качества, не помышляя о более близких отношениях. Не заметить его, исходя из рассказов мамы, было очень трудно.

Узнав об увлечении дочери, бабушка не запрещала ей выбирать свой путь, но со свойственной ей решимостью сказала: «Ты, Соня, как хочешь, но я отсюда никуда не уеду». Об этом бабушка рассказывала мне уже в Москве, когда я училась в школе. Кроме того, на ее руках была больная мать. Эта земля была для нее священна. Она часто говорила: «Здесь лежат мои старики».

Бабушка хорошо знала, что ждет их после оккупации, факт, который усугублялся уже известной деятельностью Александры Толстой в Америке и отъездом в Штаты после тюремного заключения отца моей матери, который находился в камере смертников за то, что перегнал Врангелю табун лошадей. Позднее все это отразилось не только на нас, но и на моих детях. Кто, как не моя бабушка, знал об опасности нашей жизни в России после всех перечисленных пунктов нашей биографии. Ведь именно ей пришлось однажды прятаться в фонарном

столбе. Она бежала от чекиста из-под Рыбинска. Это было в годы гражданской войны. Берег Волги, по которому она шла, был залит кровью и покрыт трупами дворянских девушек, у которых были вырезаны груди. Об этом я узнала от нее в ранние школьные годы. Увидев паромщика, она просила его перевезти ее на другой берег. Он обещал выполнить ее просьбу только по возвращении и для безопасности запер ее в фонарном столбе, где она пробыла все время до его прибытия. Не имеет смысла сейчас упрекать кого-то в лютой жестокости. Несомненно, она была обоюдной. В войнах, придуманных и разыгранных не нами, не только в России, гибнут и еще долго будут погибать миллионы людей от средств, еще более жестоких, но не всем известных.

Первые сигналы о своей причастности к миру политических грешников я получила уже в седьмом классе, когда моей матери в школе, где я училась, был задан вопрос: «Это ваша родственница в Америке занимается антисоветской пропагандой?» О деде пока молчали. Но моя бабушка относилась к числу тех русских людей, которые не изменяли самим себе. Ни мать, ни бабушка никогда ни от кого не отрекались даже в самые страшные годы и, оставшись здесь, не подделывались ни под один, ни под другой режим. Они и все мы никогда не были хамелеонами. А за любовь не судят — она дается не людьми. Когда в ночную непроглядную осеннюю тьму врзались слепящие огни от фар черных «воронков» и из домов выводили ни в чем не повинных людей, бабушка, не боясь никого, помогала оставшимся без родителей детям, брала их к себе, кормила и утешала. В одну из таких ночей в дом к бабушке постучали. Шел сильный дождь. Осенний ветер стучал по оконным стеклам уже голыми ветками. Мама открыла дверь. Озябшие и промокшие, в дом вошли двое мужчин, один из которых назвал себя родствен-

ником царя — Святополк Мирский. Забыть то, что случилось с Романовыми, он не намеревался.

Согревшись горячим чаем, они ушли. На дворе стояла ночь.

Дальняя маленькая комнатка привлекала мое внимание. Меня туда не пускали, но я часто заходила в нее. В холодные зимние дни там гуляла ледяная стужа. Под горой одеял и подушек безжизненно и безмолвно лежала парализованная мать моей бабушки — Прасковья Афанасьевна Сидоркова, в девичестве Кудрявцева. Проболела она 2 года и умерла в 1945 году.

Дров и продуктов «тетка» Толстая-Есенина, руководимая Чеботаревской, им — моей бабушке и маме — не давала, отказывала и в машине, чтобы съездить в Тулу, хотя этими льготами на законных основаниях в годы войны пользовались все сотрудники музея «Ясная Поляна». Хотелось бы уточнить, кем была направлена в Ясную эта фигура, сопровождавшая Толстую-Есенину всю ее жизнь, ограбившая ее в последние годы ее жизни, руководившая многими ее поступками и отравлявшая и без того драматичное существование моих близких. Во всем этом прослеживается некоторая закономерность событий, повлиявших на судьбу не одного поколения этой фамилии.

Щедрая душа моей бабушки всегда находила себе хлопоты и заботы, никогда не надеясь на ответную благодарность. Письма Ольги Константиновны Дитрихс — матери Толстой-Есениной и Ильи Толстого (отца моей матери) напоминают скорее списки, в которых просьбам не было конца. Купить продукты, достать меда, отдать ее долги, чем кормить ее внука от первого брака ее сына, уехавшего в США. Забота об Александре, приехавшем на все летние месяцы в Ясную, ложилась на нее и ее пожилых родителей, вызывая всплески ревности моей

маленькой матери. И у нее, и у Александра формировались тяжелые характеры.

Знала бы моя бабушка, во что впоследствии для нас и даже моих детей выльется ее доброта и безотказность. Учась на биофаке в МГУ, моя мать жила у Сергея Львовича Толстого на Арбате. Это была новая эпоха в ее жизни, ее привлекала медицина, но она терпеть не могла математику. О смерти дедушки, Ильи Васильевича Сидоркова, моя мать узнала во сне. Огромная черная птица накрыла его своими крыльями. Бросив все, моя импульсивная мать примчалась в Ясную, где на пороге ее встретила ее бабушка, Прасковья Афанасьевна, со словами: «Сегодня ночью дедушка умер».

Будучи очень щепетильной, моя бабушка никогда не хотела оставаться у кого-либо в долгу. В одном из своих писем она пишет матери о том, что задолжала Сергею Львовичу 50 рублей и от этого очень страдает. «Учись, Соня, я еле хожу, и вся в фурункулах», — пишет она дочери в Москву. Тяжелая анемия, развившаяся у нее от постоянного недоедания и бессонных ночей, стала необратимой и сопровождала ее всю жизнь. Все ночи напролет шила она и вышивала, чтобы обеспечить дочери независимое положение в Москве. Еще в юности у матери моей развился туберкулез, и бабушка вынуждена была продать ее золотой крестик. Господи! Прости ее за это!

На втором курсе мама сильно заболела, и врачи настаивали на серьезном обследовании, опасаясь обострения болезни, но она не согласилась, боясь всех медицинских процедур, о чем пишет в Ясную Поляну. Вскоре началась война, и моя мать, бросив учебу, вернулась домой. В пачке конвертов я нашла письмо, адресованное моей бабушке неизвестным мне человеком с восточной фамилией, который возмущен был отчислением моей матери из университета. Будучи красивой и благородной, моя

бабушка вела затворническую жизнь, бережно храня память об отце моей матери. В Ясной Поляне бывало много интересных людей. Инукидзе не раз предлагал ей руку и сердце, но бабушка категорически отказывала ему. Всю свою жизнь я сокрушалась о том, что она не устроила свою жизнь так, как того заслуживала.

В начале войны в Ясной Поляне появился агроном из Латвии Петерс-Волдемарс Вилистерс. Как опытного специалиста направила его в Ясную Сельскохозяйственная академия. Он был очень образован, много читал, все отзывались о нем как об умном интересном собеседнике. Он полюбил мою мать, и вскоре они поженились. Ей было 20, ему 48. Судя по сохранившимся в доме письмам, первые годы их совместной жизни были интересными, и мать, и отец были счастливы, невзирая на разницу в возрасте. Мужественный, крепкий и сильный, немногословный, как все латыши, но способный на тонкие чувства, он вызывал во мне любовь и уважение. Однако видели мы его редко — частые и продолжительные командировки не позволяли нам сблизиться.

Я помню, как нежно пел он мне колыбельную о медвежонке на своем языке. Я наслаждалась напевностью латышской речи, магией его акцента, который полюбила на всю жизнь. Тяжелый характер моей матери усугублялся ее тяжелым трудом, постоянной усталостью и жестокими интригами тетки и ее руководителя Чеботаревской. Мы все очень от этого страдали. Ее характер не имел ничего общего с характером бабушки, которая выросла в семье, где всегда были мир, покой, уважение друг к другу и большая человеческая любовь, о чем она всегда вспоминала.

Отец приезжал все реже и после очередной вспышки гнева моей непредсказуемой матери молча собрал чемодан и покинул Ясную. Я плакала, говоря, что люблю его,

за что рисковала быть сурово наказанной. Бабушку отец любил и относился к ней с большим уважением. Родиной его были сказочно-прекрасные места Латвии, недалеко от границы с Эстонией, где, наверное, и по сей день стоит хутор, в котором он родился и который мне так близок и дорог.

Его мать, Елизавета Генриховна Ливен, была внебрачной дочерью немецкого барона Ливена, который дал ей свою фамилию. Она очень рано вышла замуж за своего школьного учителя, преподававшего в сельской школе, где она и училась. От этого брака у нее было семеро детей, и, прожив нелегкую жизнь, она умерла, когда ей было более 90 лет.

Отец, будучи еще совсем молодым, воевал в армии Буденного, был комиссаром в годы установления советской власти в Латвии, занимаясь национализацией немецких банков. Позже работал в должности председателя совхоза «Буртниекс» под Ригой. И, как я слышала от матери, еще в советское время добровольно вышел из партии, разочаровавшись в ее политике и курсе, после чего какое-то время оставался без работы.

Находясь в родильном доме, где родилась моя очаровательная и талантливая младшая дочь, я вдруг вспомнила об отце и почувствовала, что его уже нет. Придя домой со своей малышкой, я увидела в руках матери конверт. В письме от брата отца Августа было известие о его смерти.

Недавно была переиздана книга отца на латышском языке «По тропам воспоминаний», где он поведал о своем долге, наполненном бурными военными и революционными событиями, размышлениями, роковыми противоречиями жизненном пути.

Последние годы, а скорее месяцы моей жизни в Ясной, незадолго до переезда в Москву, были омрачены событиями, оставившими глубокий след в моем сознании, долго незаживающую рану в моем детском сердце.

Моя последняя весна в Ясной. Мы идем вверх от Кошачьего пруда. У меня в руках огромные ножницы, которыми я срезаю сочную майскую траву с желтыми цветами для Дочки. Бабушка рвет траву руками. Но вот набежали тучи и скрылось солнце, подул холодный ветер, и на желтые цветы опустились крупные хлопья мокрого снега. Нам холодно, и мы в летних белых платьях, перепачканных желтой пылью, спешим домой. Наша Дочка стала болеть. Ее хриплое, шумное дыхание и кашель заставляли меня страдать.

Позже я узнала, что какой-то местный мерзавец (я долго помнила его фамилию) гнал ее, старую и больную, верхом на лошади. Дочка спотыкалась, задыхалась и хрипела, выкатывая глаза, изо рта ее шла пена. Я впервые испытала мучительную беспомощность и брезгливость к человеку. Когда вели ее на убой, из ее добрых и умных глаз катились крупные слезы. В ее желудке и легких было обнаружено огромное количество патефонных игл.

Мама все чаще стала уезжать в Москву. Останавливалась она у сына Сергея Львовича — Сергея Сергеевича, которого очень любила, в его большой квартире

на Арбате. Возвращаясь, она много рассказывала о нем, о мудрой, верующей и невозмутимой Федосье, что-то горячо обсуждала с бабушкой. Меня тревожили предстоящие перемены в жизни, многое было непонятно.

Вспомнился мне лосенок, найденный кем-то в Чепыже. Он лишился матери, о судьбе которой ничего не было известно. Он был нежен и беспомощен. Его поили молоком из соски, ухаживали за ним, а он заболел и погиб.

Стоит ноябрь. Скоро мне шесть лет, и в декабре мы покинем Ясную. За окном лежит замороженное сало нашего поросенка, с которым я еще совсем недавно гуляла на веревочке. Он тащил меня так, что я все время падала. Я носила ему молочай и яблоки, наслаждалась его чавканьем и похрюкиванием. Все это меня устраивало, и мне не нужны были никакие перемены. Я знала уже тогда, что рождена для земли. Но сало это снова и снова приковывает мой взор, я думаю о жизни и смерти, испытывая жалость, тревогу и ужасное беспокойство оттого, что так много непонятного в этом мире. Но бабушка пытается успокоить меня, говоря, что в Москве нам нечего будет есть, пока мама не устроится на работу. Тут я вспоминаю, как Анна Николаевна Нагорнова со своим суровым лицом берет за ноги цыпленка и несет его прямо к тому бревну, где мы играем. В другой руке у нее топор. Я стою и не понимаю еще, зачем она идет к нам. Решительным жестом кладет она цыпленка на бревно и одним разом отрубает ему голову. Хлынула кровь, и тут вдруг произошло чудо — цыпленок побежал без головы. Много лет снился мне сон, что мне отрубают голову и я, сознавая это, бегу без головы.

На дворе декабрь 1949 года. Я прощаюсь с Ясной. Собираются скромные пожитки. Бабушка заказала у Гриши Фоканова кое-что из мебели, которая потом быстро рассохлась, так как сделана была из непросушенного

дерева. Нам помогает Володя Петров, который и будет сопровождать нас до Москвы. Нам предстоит долгий нелегкий путь поздним морозным вечером и ночью на грузовой машине. И вот мы в дороге. Закутанная в одеяло, я крепче жмусь к бабушке, которая держит меня в своих объятиях. Ляля едет с мамой. Володя — в кабине с шофером. Тяжелая, тревожная дремота овладевает мной, я вздрагиваю, просыпаясь, и снова погружаюсь в сон. Очень темно. Видимо, уже глубокая ночь, а мы все едем и едем. Временами доносятся до меня чьи-то слова, в полусне мелькают какие-то образы. Вот бежит рядом с нашей машиной огромный поросенок в синих коротеньких штанишках. Бежит почему-то на задних ногах, как человек. Голова его достает до самой крыши кабины. И тут я узнаю его — он из моей складной картонной книжки. О! Как болят мои замерзшие ноги. Я еще крепче прижимаюсь к бабушке и засыпаю на какое-то время. Но меня укачало, и мне очень плохо. Мама что-то кричит, но я не слышу. Мне еще удастся задремать, но темнота, холод, толчки машины и боль в ногах, которые я давно перестала чувствовать, не дают мне отдыха и сна. К тому же этот запах бензина, который я просто не переношу, сводит меня с ума, и я готова умчаться обратно, туда, где оставлен мною мой знакомый, родной, маленький земной рай. Я в отчаянии. Но вот машина въехала в какой-то двор и начинает постоянно кружить и поворачивать то вправо, то влево. Чужие дворы, чужие дома. Вот опять сильный толчок, и я слышу слова мамы:

— Ну вот, приехали.

Она, по-моему, оживлена и рада. Я пытаюсь наступить на ноги, но они не подчиняются мне. Ощущение ваты в пальцах не проходит.

«Скорей, скорей, Танечка!» — и бабушка помогает мне подняться, потом меня хватает Володя Петров и тащит

куда-то по незнакомой лестнице. Мы входим в квартиру — и чему радуется мама! Две маленькие комнаты, я в клетке. Если бы не бабушка, я вовсе пропала бы от отчаяния. Прощай, воля! Прощайте, шатры из душистой черемухи! Ни сарая с дорогим мне коровьим запахом, ни чуланчика с кадкой квашеной капусты, из которой я доставала душистые антоновские яблоки. Нет воли — нет и жизни. Но не могла я знать тогда, что сейчас, под конец моей жизни, я буду ходить под окнами этой квартиры, заглядывая в них, как в самое прекрасное мое прошлое, в котором я познала наивысшую земную радость — материнство.

Предчувствия меня никогда не обманывали даже в те далекие детские годы. В ноябре, отучившись 2 месяца в первом классе, я тяжело заболела самой тяжелой формой скарлатины — септико-токсической, и уже после новогоднего праздника в больнице меня перевели в бокс для умирающих. Я была без сознания, временами посещая какое-то незнакомое мне до сих пор пространство, промежуточное между тем миром и этим, и видя себя сверху из дальнего края потолка. Я слышала временами голоса врачей и сестер и их слова о том, что я умираю. Они не знали, что я иногда слышу. Смерть, о которой я раньше так много думала как о чем-то необъяснимом, пугающем и несправедливом, теперь не смущала меня. Я чувствовала покой, легкость, скорее невесомость и смирение, и даже какую-то мягкую, блаженную радость. Профессор Доброхотова защитила на моей болезни докторскую диссертацию. Моих родных готовили к моей смерти. Бабушку, страдавшую истощением и малокровием, поселили ко мне, где она могла и поесть, и отдохнуть. Медицинский персонал был безупречен. Мама ко мне не заходила, боясь увидеть меня такой; она уже работала в библиотеке имени Ленина, а маленькую Лялю отвозила к Федосье и Сергею Сергеевичу на Арбат.

Бабушка неустанно молилась и, посещая церковь Всех Святых на «Соколе», обращалась к своей любимой иконе Нечаянная Радость.

Алексей Петрович Сергеенко, посещавший нас, рассказал о том, что Ванечка Толстой умер в том же возрасте именно от этой формы скарлатины. Но молитвы моей бабушки были услышаны, и однажды, сквозь пелену моего возвращения к жизни, я услышала ее голос.

В Ясной я была еще несколько раз. В возрасте 12–13 лет меня оперировали в яснополянской больнице по поводу аппендицита, где я узнала прекрасного человека и хирурга Игоря Петровича Чулкова. Во время моей операции бабушка, молясь, ходила по дорогим нам тропинкам в Чепыже и до ее слуха доносилась прекрасная мелодия «Полонеза» Агинского. Я вспоминаю свое пребывание в этой больнице как маленький праздник. Доброжелательный и трудолюбивый персонал, чистота, прогулки, простые, веселые люди. В это же время в стенах этой больницы произошла яркая, запоминающаяся, романтическая история, которая взволновала всех. Игорь Петрович, высокий, красивый, с чувством юмора, великолепный хирург, готовился к очередной операции. Неожиданно в операционную вошла женщина в белом халате с большими светло-кариими глазами, мягким, немного печальным взглядом. Ей было лет 40–45. Увидев ее, Игорь Петрович замолчал, а затем воскликнул: «Галя Вишина?!»

Оказалось, что они вместе были на фронте, но потом их фронтовые дороги разошлись. Светлая память прекрасным людям русской земли!

На будущий год моя мама написала в Ясную письмо с просьбой позволить нашей семье провести там лето. Приехав, мы узнали, что нам отведена будка, снятая с грузовой машины и поставленная недалеко от лесопилки

у ограды сада. Каким-то образом моя бедная мать раздобыла два матраца, на которых мы вчетвером и спали. Это все, что можно было поместить в этом укрытии. Надо отдать должное матери, которая могла приспособиться к любым обстоятельствам, проделать любую работу, которая не всякому мужику была бы под силу.

Из найденных где-то старых кирпичей она быстро соорудила печку, а из ржавой железки — трубу; столик и скамейку сколотила из валявшихся досок. Эта нехитрая временная собственность на улице рядом с нашим «жилищем» делала честь трудолюбивым рукам моей матери, и вкусный запах каши уже распространялся по дорогим мне когда-то просторам.

Рано утром, когда раскаленная крыша будки уже остывала, и приятный утренний холодок давал возможность отдохнуть от дневного и вечернего пекла и духоты, мы безмятежно спали.

Проснувшись я от толчков, думая, что началось землетрясение. Выглянув в крохотное окошко под крышей будки, я увидела несущихся прямо на наше «жилище» двух быков, один из которых своей массой мог привести в ужас кого угодно. Сотрясая землю, они неслись по узкой тропинке, у которой и стояла наша будка и «кухня». Ударяя о землю кнутом, гнал их пастух. Расстояние между нами сокращалось, и я с ужасом думала о том, как перевернется сейчас наша будка. Но могучее животное только задело угол нашего арестантского убежища и хорошо очистило о его стену свой правый бок.

Стояла жара, и через несколько дней я слегла от солнечного удара. В будке находиться было невозможно — крыша раскалена солнцем, дышать нечем. Вокруг было открытое пространство, и бабушка положила меня под яблоню, хотя редкие ветви ее не могли защитить от раскаленного солнца. Бабушка делала мне холодные обертыв-

вания из смоченных водой простыней, но они быстро согревались, так как температура у меня была 39–40 и выше. Голова моя «трещала», колотил озноб, меня рвало, начались судороги.

Но Господь вновь даровал мне жизнь по молитвам моей бабушки для познания главных ценностей жизни — любви, материнства и веры. Любви глубокой, человеческой, наивысшей. Купаться мы ходили на пруд, расположенный на пути к газовому заводу. Его торфяные берега и мягкая вода немного напоминали нам озеро в Латвии. Однажды, возвращаясь с Газового, мы зашли искупаться. Вокруг совершенно открытое пространство. Далеко позади — деревня. Не успела я зайти в воду, как услышала неприятный свист, от которого стало тревожно и страшно.

«Бабушка, что это?» — спросила я. Но не успела она ответить мне, как вторая и третья пули, просвистев, упали рядом с моей правой ногой.

«Это пули, пойдем отсюда», — позвала бабушка, и я увидела ее скорбное, озабоченное лицо.

Мы хорошо были видны на широком открытом пространстве, и стреляли именно в нас. Мы не спешили, шли медленно, молча. Больше мы в Ясной не отдыхали.

Спасибо Латвии и ее прекрасным людям земли. Старым латышским крестьянам вечная память и низкий поклон.

13 августа 1974 года мы приехали в Ясную с похоронным автобусом, чтобы в этой земле похоронить бабушку, в той земле, где прошла ее молодость, где покоятся ее родители.

О своем отчаянии, боли, чувстве вины, сознании того, что мучилась именно она, та, что менее всего этого заслуживала, написать невозможно. Но в этот тихий мирный летний вечер на землю спустилась с небес благодать, и тот, кто хоть раз не ощутил этого чувства, никогда в этом ничего не поймет.

На душе вдруг стало легко и спокойно.

Особенная тишина стояла вокруг. Это была не та тишина, пугающая, звенящая, мистическая, а кроткая и благодатная. Во всем, что окружало нас, таилась мягкая, светлая печаль, умиление и любовь.

Бледная лазурь небосклона отражалась в неподвижной зеркальной поверхности пруда, нежно-розовые полосы протянулись по небу, солнце клонилось к заходу, согревая все своим бархатным теплом. Когда гроб опустили и первый комок земли ударился о крышку гроба, мои малютки заплакали, как будто осознавая, что теперь мы лишены невидимой молитвенной защиты нашей бабушки.

Умирала она мужественно, тихо, безропотно, стараясь никого не смутить своими страданиями, как можно

меньше всех беспокоить. Когда сознание ее помутилось, она произнесла: «Соня, возьми там...»

Ее душа, обремененная вечной заботой о нас, как будто сопротивлялась уходу в тот новый, властно зовущий, неизбежный мир, в котором нас еще не могло быть.

Ей померещились кости, которые можно было сварить моим детям. В комнате было душно, но балкон был открыт. Бабушка стала задыхаться, просила поднять ее. Вызвали «скорую». Врачи — двое молодых мужчин — молча стояли, опустив головы, долго не уходили, хотя бабушка была уже мертва.

Как хочу я и сейчас засыпать под шепот твоей молитвы, когда возмущенная, мятежная и бунтарская душа моя, как в детстве, наполнится покоем, радостью и любовью. Прости меня!

18 апреля 1990 года не стало моей матери — беспокойной, энергичной, талантливой, надломленной и несчастной.

Но никогда не могла я предположить в ней тех качеств, которые открылись перед нами во время ее тяжелой болезни.

Нетерпеливая, временами капризная и властная, она мужественно боролась со смертельным недугом, с героическим спокойствием и выдержкой приняла врачебный приговор, сожалея о том, что внучка ее — моя дочь — будет видеть ее мучения.

«Посидите со мной», — робко попросила она, свесив с кровати распухшие ноги. Я, моя дочь Тата и Катя (племянница жены В. Черткова) старались отвлечь ее от грустных воспоминаний.

«Берегите свои жизни, простите меня». Она тихонько заплакала.

«Я утром просыпаюсь и думаю, вот сейчас встану и побегу, потом вспоминаю, что умираю».

Я давно не помню такой ранней, бурной весны. Стояла жара. Яркая синева неба и яркое солнце врывались в распахнутое окно, напоминая о радости жизни.

«Таня, посмотри, есть ли уже трава?»

Я вышла на балкон, зажмурив глаза от ослепительных солнечных лучей. Под окном зацветали черемуха и вишня, яркая зеленая трава уже пробивалась повсюду, ликовали птицы. Мне стало больно.

Последние дни были невыносимо тяжелыми. Моя дочь валилась с ног от усталости. Я собиралась взять отпуск, чтобы последние дни помочь ей.

«Таня, молись, чтобы это скорее кончилось», — просила она, когда боль уже не отпускала ее, становясь нестерпимой.

На ее исхудавшем лице с покрасневшими от бессонных ночей веками оставались глаза — выразительные, большие, прекрасные.

Последняя ночь была особенно тяжелой. Мы не спали. Вечером мама тихо сказала: «Посмотрите телевизор, чтобы вам не было скучно». Нас было трое в этой маленькой шестнадцатиметровой комнате. Этот пятиэтажный кирпичный дом, в котором умерла и бабушка, тоже стал для меня святыней.

Утром пришла медицинская сестра. Я плакала. Сестра просила меня успокоиться, чтобы не мешать душе мамы спокойно покинуть тело.

«Мамочка! Прости нас! Мы тебя никогда не забудем!» — закричала я.

Она едва заметно кивнула, не открывая глаз, и сделала мне знак, чтобы я не мешала.

На лице ее появилось странное выражение, чему я тогда не придавала значения, а поняла только сейчас. Она уже входила в другой мир, как будто удивляясь ему, видя другие образы, слыша иную музыку. Измученная и смири-

шаяся, она вступила в тот мир с облегчением, интересом и надеждой.

За несколько дней до смерти она позвонила в Ригу, попрощалась с друзьями и попросила латвийского ржаного хлеба, который мы все очень любили. Но посылка пришла после ее смерти. В Ясную она тоже позвонила сама. Она просила вырыть для нее могилу рядом с бабушкой. Милая моя мамочка! Я пишу эти строки, заливаясь слезами и прижимая к груди твою последнюю фотографию. Сердце мое разрывается от боли и потребности в общении с тобой! Через несколько дней мы были в Ясной. С нами были сестра, ее муж, сын мужа, Катя. Шла Пасхальная неделя. Гроб с телом мамы поставили на скамейку перед входом в церковь. Если бы ты видела, мамочка, этот бурный праздник ликующей весны, праздник света, любви и надежды.

Сверкали на солнце золотые купола, маленькие домики утопали в голубой сирени, над тобой раскинулись в яркой синеве и блеске вечные небеса, как свидетельство вечной жизни. Я слышала о том, что те, кто умер в Пасхальную неделю, будут прощены.

Ночь. В моих руках шелестят, уже начав крошиться, высохшие и пожелтевшие, как осенние листья, страницы писем военных лет. На конвертах штампы. «Проверено военной цензурой».

Выцветшие строки воскрешают для меня дорогие ушедшие образы. Мне хорошо с ними.

И пусть вечно цветут для вас весенние и летние цветы — розовые и фиолетовые водосборы, подснежники, медуницы, купальницы и розы, как символ вечной памяти.

Возвращаясь сердцем к родным и любимым местам, нельзя не сказать о тех людях, прекрасных людях русской земли, которые, презирая нужду и трудности нашего

времени, борясь с недугами, высоко несут знамя русской культуры, бережно храня ее лучшие традиции.

Как вольно дышится под звуки родной речи, звучащей из уст старого учителя, филолога Галины Николаевны Пироговой.

Спасибо вам всем, старые учителя яснополянской школы.

II

1993 г.

Я пишу и плачу. Сейчас мне предстоит вернуться туда, откуда началась моя жизнь, туда, где под сенью старых лип покоится прах моих близких, которым никогда уже не пройти со мной знакомыми дорогами до боли любимой земли, которая стала такой далекой.

Я возвращаюсь к истоку полноводной реки своей жизни; водопады, омуты, водовороты и несущиеся по ней камни, никогда не пугали меня, но раны глубоки и ноют по ночам, отнимая силы.

В бескрайних белых полях воеет ветер, кружа столбы колючего снега, лают тощие собаки, бросаясь на незнакомого путника, дремлют голые деревья, увешанные черными шапками вороньих гнезд.

В этом тревожном хаосе стонущего ветра, рвущего подолы одежды, мечущейся как призрак метели, воя и лая собак и раздражающих сердце криков ворон, в этом трагическом и каком-то враждебном мире вдруг встает перед тобой маленькая церковь со своим миром смирения, покоя и равновесия, заслонив собой от мятежной стихии маленькое кладбище. Взрыв рыданий над дорогами могилами стихает и приходит другое, ясное чувство любви, покорности и смирения, чувство близости незримой души, общение с которой не хочется прерывать.

Но сердце еще болит, и эта ноющая боль долго будет преследовать меня, и только другая, мощная и властная

сила моей любви к тем, кто ждет меня на этой земле, уведет от этой боли к другой.

В этой церкви меня крестили, когда мне было лет 12, бабушка купила маленький пластмассовый крестик на розовой шелковой ленточке, и я вышла из церкви с чувством, что свершилось что-то такое значительное, наивысшее, что обязывает меня постоянно оглядываться на себя и страшиться свершения зла. Бабушка рано внушила мне это чувство необходимости контроля над собой, призывая творить добро.

Мне было очень страшно и досадно, когда я оступалась, испытывая на себе внимательный и скорбный взгляд незримого Бога, ощущая его постоянное присутствие. Но еще большее и страшнее было сознание причиненной бабушке обиды от своих проступков, которые повторялись и повторялись.

Поздним ноябрьским вечером, на исходе 15 ноября 1943 года, в доме Волконского моя бедная мать родила меня и добрые руки бабушки приняли меня в свои объятия навсегда. Заботливо завернув меня в мягкие ветхие пеленки из старой простыни, прижимала она меня к своей груди, и ясный чистый свет ее больших голубых глаз проник в меня неистощимым родничком, из которого я черпаю и по сей день.

Война была еще в самом разгаре, но в Ясной Поляне было уже тихо и только рвы, воронки и незаметные холмики напоминали о том, что и эта земля обогрилась кровью. Черным зловещим дымом расползлось это чудовище по земле, разбрасывая в стороны искалеченные тела, не разбирая возраста, национальной принадлежности, заглушая молитвы и стоны.

У одного убитого молодого немца, почти еще мальчика, из кармана на груди торчала крохотная розовая распашонка. Вдоль дорог лежали не захороненные раздутые

трупы немецких солдат, которые весной разлагались, освобождаясь от пузырьков газа.

Мама показывала мне эти места, мне было страшно и трудно поверить, что на том самом месте, где я стою, утопая в желтых весенних цветах, так безобразно и уродливо заканчивалась человеческая жизнь. Война сильно повлияла на ослабленные нервы моей матери.

Был обычный тихий и теплый летний день, когда, взглянув в окно, она в ужасе и отчаянии закричала: «Мама! Немецкие танки!»

Во время обстрела приходилось прятаться в ямы, в которых хранили картошку, и маленькое отверстие такой ямы внушало ей страх. С тех пор она часто кричала по ночам — ей снилось это сужающееся отверстие, сквозь которое виден был кусочек синего неба, но потолок опускался все ниже и ниже, окошечко исчезало, и, задыхаясь, она просыпалась с отчаянным криком.

Эти сны каким-то образом передались и мне. Долго я мучилась, пытаюсь залезть под кровать за игрушкой, и вот игрушка уже у меня в руках, но тут кровать начинает медленно опускаться, придавливая меня, и я в ужасе просыпаюсь.

В войну, находясь на трудовом фронте вместе с другими женщинами, моя мать колола лед на дорогах. Работала санитаркой в госпитале, где виды человеческих увечий, горя и ран потрясали ее. Она часто вспоминала одного солдата, лишившегося обеих ног по тазобедренные суставы. Борясь с обмороком во время перевязки, она держала большой таз, в который стекала бесконечная зловонная масса гноя.

Во время пожара в музее моя мать принимала активное участие в его тушении и ликвидации последствий этой беды, но об ее участии в этом событии почему-то нигде не упоминается.

Все мужчины и мальчики-сверстники были на фронте, и страшное разрушительное горе женского одиночества разгуливало по деревням. Картофеля хватало до середины зимы, ели крапиву, сныть, лебеду, жмых. В этот период разрухи и появился в Ясной Поляне мой отец — сильный, крепкий латыш — Вилистер Петр Мартинович. Он был назначен в Ясную Поляну Сельскохозяйственной академией и на него, как агронома, была возложена задача поднять, восстановить сельское хозяйство в Ясной. Здесь он и встретил мою мать, которая вступила с ним в брак в возрасте двадцати лет. Отцу было сорок восемь.

По рассказам людей, знавших его, он был очень образованным, интересным собеседником. Меня тянуло к нему, но какой-то тайный запрет всегда лежал в основе моего желания приблизиться к нему.

Как-то помню, он сидел у моей высокой постели, пытаясь уложить меня спать и напевая латышскую колыбельную. Я была счастлива, очень возбуждена — ведь приезжал он очень редко. Я разглядывала его большую руку, барахталась и вертелась, а отец терпеливо и нежно продолжал укачивать меня. Мне стало жалко его, и я притворилась спящей, хотя ужасно хотелось смотреть на него, говорить с ним и слушать его голос.

Читая еще сохранившиеся письма его к матери, я нахожу в них большую любовь, самые сильные, серьезные чувства. «Если бы ты только могла полюбить меня», — с горечью читаю я хрустящие желтые маленькие листки.

Каждый его приезд заканчивался ссорой с матерью, и он уезжал. Звал всю семью переселиться в Латвию, но мать отказалась, хотя летние месяцы мы проводили на лесном латышском хуторе. Прекрасная природа нетронутых лесов, высокая культура сельской жизни, новые интересные типы суровых, мужественных и чест-

ных, а также очень трудолюбивых людей — все это запало в мое сердце ощущением второй Родины.

Но отца мы больше не видели. Через 1 год 5 месяцев после меня родилась моя сестра, голод матери, видимо, сказался на ее зрении. В раннем детстве она была прелестным ребенком с большими карими глазами, очень белой и нежной кожей и ярко-золотистыми очень тонкими, пушистыми, вьющимися волосами. Но ее большие красивые глаза смотрели странно: она очень плохо видела.

Мне всегда было жалко ее, и я с нежностью и болью смотрела на ее обветренные ручки. Иногда я командовала ею слишком настойчиво и требовала подчинения в своих отчаянных играх, но потом все стало наоборот. Бабушкиной любви и терпения хватало на всех, и она заботилась о нас с неистовой самоотверженностью.

Мать тащила на себе всю тяжелую работу, таская из леса бревна и дрова, утопая и замерзая в сугробах, чинила сарай, а с появлением коровы на ее плечи легла забота об ее корме. Помню поздний летний вечер. Темно. Впереди идет мать, погоняя лошадь, на телеге — воз сена. Бабушка идет сзади, прощупывая дорогу, а мы едва поспеваем, спотыкаясь о кочки и проваливаясь в колею. Наши белые платья в мокрых комьях земли, ноги совсем промокли, мы засыпаем на ходу, едят комары. Я мечтаю о том, что когда-то мы все-таки придем, и я смогу лечь и заснуть. Но вот крик впереди, мы подходим и видим, что телега с возом перевернулась, и мать в отчаянии силится ее поднять. В темноте ничего не разобрать, кажется, я заснула, а когда пришла в себя, увидела, что мы продолжаем бесконечный путь в ночном лесу.

С появлением коровы ушел из нашего дома голод. Откуда-то издалека ее привел отец, долго шел он с ней, ночуя в поле, обогреваясь ее телом. Слышала, что разрешение на приобретение ее дал Микоян.

Тяжелый труд, усталость, несложившаяся личная жизнь усугубляли несдержанный непредсказуемый нрав матери. Наше детство и дальнейшая жизнь были сильно омрачены проявлениями ее характера, и только щедрость и мужество души бабушки помогали выдерживать тяжесть нашей жизни.

Мы уходили в Чепыж или в Березовую посадку, где пение птиц, цветы и прекрасные пейзажи яснополянской природы раскрывали перед нами свою вечную тайну прекрасного. Бабушка, не переставая, умилялась этой красотой, обращая на нее наше внимание. Иногда она брала с собой работу. Она прекрасно шила, вышивала, сочетая в себе большой дар художницы-модельера и мастерицы.

Ранней весной, когда появлялись первые проталины и запах оттаявшей земли волновал и тянул к себе, мы шли на огород, где искали картошку. Сзади плелась маленькая сестра, еще неуверенно ступая ножками, падая и спотыкаясь. Картошка попадалась, вернее это была не картошка, а раскисшая в земле клейкая белая масса, из которой мать выпекала нечто, напоминающее блины.

Помню, как в большой кухне нашей квартиры, в доме Волконского появился новорожденный теленок. В сарае было очень холодно, и нашей рыженькой корове Дочке и белым курочкам приходилось нелегко. Однажды, придя в сарай рано утром, мать увидела на спине коровы белые шапки снега. Мама была близорука и, подойдя ближе, поняла, что это куры, от холода перебравшиеся на спину нашей Дочки.

Встреча с теленком была для меня огромной, волнующей радостью. Я просто не верила в такое счастье. Темное зимнее холодное утро. Я прихожу в кухню. Слышу, как разъезжаются по полу и стучат копытца его слабеньких ножек. Дивные мокрые глаза с длинными ресницами,